

1. ПРОЕКТ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

Дома обозначают пространство — они, как вехи, оказываются обычно в самых важных местах: на холме, у озера, в излучине реки. А в городе дома — это и есть само пространство. Мы не знаем, как бы оно выглядело без них. Они и есть та среда, в которой мы живем. Мы ходим и ездим по линиям-улицам вдоль домов, поднимаем глаза и разглядываем их. Внутри дома мы передвигаемся так, как нам предписано архитектором. Мы ходим по нарисованному плану — дверь, коридор, комната. Мы поднимаемся по лестнице под определенным углом или идем вверх по спирали, если лестница винтовая. Летим вертикально вверх, если это лифт. Внутреннее устройство влияет на наше поведение, помогает или мешает нам. Пространство внутри дома как будто бы образует течения, так что из одних комнат нас выталкивает, а в другие мы сбиваемся вместе.

А что, если внешнего пространства нет? У меня, например, его не было. Из-за того что оно состояло из одинаковых домов, ровно таких же, как в соседнем микрорайоне, оно не закрепилось в детской памяти. Внутри все помню, снаружи — ничего. Помню, пожалуй, только пруд около дома, потому что пруд был нашей достопримечательностью. Мы ездили посмотреть на дома в центр города — как в музей. Там был город, где можно было ходить, но нельзя жить (я не мог представить, что на Кропоткинской можно жить!). А у нас можно было жить, но неинтересно было ходить — нужно было только дойти до подъезда и исчезнуть в нем. Я не мог, например, серьезно относиться к попыткам завести клумбу около

подъезда — мне было жалко этих цветов в маленьком цементном углублении. Мимо них, мимо бабушки, сидящей у входа, хотелось скорее пройти и оказаться внутри. Для меня, как и для многих, наверное, кто вырос в многоэтажном доме, главным было внутреннее пространство.

Оно, конечно, было очень простое, это пространство. Архитектор, точнее — инженер, который его «рисовал», был стеснен в средствах — никаких винтовых лестниц или эркеров. Мы жили в ячейке, в точно такой же, как и все вокруг. Для меня было естественно, что квартира моего лучшего друга, где я проводил почти столько же времени, сколько у себя, была такая же. Совсем такая же — вплоть до того, что вешалка в коридоре была такая же, лампы — такие же, книжные полки стояли на том же месте, и книги, стоявшие на этих полках, были почти те же.

Эта жизнь, у которой не было внешней стороны, была счастьем для моих дедушек и бабушек. Я помню рассказы про вселение в девятиэтажку. Квартира была лучше, чем комната в коммуналке или в бараке, — гораздо лучше. Эта квартира несла благую весть: за вами не будут подглядывать, вы сможете ходить в туалет тогда, когда захотите, вы сможете мыться в собственной ванной. Из мира, где нет частного, а есть только публичное, вы попали в собственный дом. В нем можно спрятаться, пусть это и ячейка, собранная из панелей, сделанных на домостроительном комбинате. В любом случае это единственный выход: «Закон экономии властно управляет нашими действиями и мыслями. Проблема дома — это проблема эпохи. От нее ныне зависит социальное равновесие. Первая задача архитектуры в эпоху обновления — произвести переоценку ценностей, переоценку

составных элементов дома. Серия основана на анализе и эксперименте. Тяжелая индустрия должна заняться разработкой и массовым производством типовых элементов дома. Надо повсеместно внедрить дух серийности, серийного домостроения, утвердить понятие дома как промышленного изделия массового производства, вызвать стремление жить в таком доме. Если мы вырвем из своего сердца и разума застывшее понятие дома и рассмотрим вопрос с критической и объективной точек зрения, мы придем к дому-машине, промышленному изделию, здоровому (и в моральном отношении) и прекрасному, как прекрасны рабочие инструменты, что неразлучны с нашей жизнью»^[1].

Это Ле Корбюзье писал в 1920-е годы. Это он противопоставил архитекторов и инженеров. Он писал, что архитекторам, забывшим об изначальном предназначении жилища, увлекшимся декором, предстояло умалиться. Им скоро нечего будет делать: «У нас больше нет средств на возведение исторических сувениров». А инженерам, наоборот, предстояло расти и взять в свои руки бразды правления человеческим общежитием. Он, конечно, не мог и предположить, насколько крепко инженеры возьмут в свои руки бразды правления общежитием в далекой России. Не мог и подумать, что еще при его жизни, в 1960-е годы, благодаря индустриализации строительства, проведенной Никитой Хрущевым, возникнет целое общество, растущее и воспитывающееся в «домах — промышленных изделиях».

Мы и стали этим обществом. «Властный закон экономии» перевели на язык постановлений ЦК КПСС: «Центральный

Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что в работах многих архитекторов и проектных организаций получила широкое распространение внешнепоказная сторона архитектуры, изобилующая большими излишествами, что не соответствует линии Партии и Правительства в архитектурно-строительном деле». Появившаяся благодаря этой новой линии пятиэтажка, срисованная в 1950-х годах инженером Виталием Лагутенко с французского типового проекта, стала спасением для миллионов людей^[2]. Позже появились девятиэтажные дома, такие, в одном из которых вырос я, собранные из шершавых серых панелей. Еще позже — шестнадцатизэтажные и все прочие «дома-машины», прекрасные, как рабочие инструменты, неразлучные с нашей жизнью.

Воспитано ли в нас «стремление жить в таком доме», о котором мечтал Корбюзье? Конечно, потому что для большинства из нас это и есть дом. Для большинства и сегодня это единственный шанс создать хотя бы небольшое собственное пространство — пусть это и ячейка в большом доме. За внешним пространством мы, как в детстве, можем съездить в центр города. А еще лучше — в другие города, в другие страны, где на внешнюю среду можно посмотреть и даже на некоторое время в ней задержаться. Старый дом в старом европейском городе — как сувенир. Его хочется взять и забрать с собой.

Без слов ясно, какой дом хочется забрать с собой, а какой не хочется. У меня и у многих, кто живет в домах без лица, особое отношение к архитектуре. Поэтому, наверное, архитектура авангарда — рациональная и уравнилельная — настолько

малопонятна в наших условиях. Чтобы современный школьник мог отличить образцы, созданные авангардистами, от упрощенных панельных изделий, растиражированных в советское и постсоветское время, большинство домов, построенных в короткую конструктивистскую эпоху второй половины 1920-х — начала 1930-х, нуждается в культурной реабилитации. Строгий подход к форме, функциональность, рост архитектуры «изнутри», от пространства, а не от фасада, ставший фундаментом и языком мировой архитектуры XX века, для нас почти ничего не значит. Функциональность и красота конструктивизма были вытеснены массовым строительством. Нашим архитекторам, в отличие от большинства их коллег за рубежом, дана была возможность создать среду, застроить квадратные километры домами по своему собственному плану. Но закон экономии оказался уж очень суров. Среда получилась такая, что ее как будто и нет.

Знаменитый дом-коммуна, построенный Моисеем Гинзбургом для работников Наркомфина (тогдашнего Министерства финансов), есть во всех учебниках архитектуры. Но люди, поселившиеся в этом доме, отказались менять свою жизнь «под» архитектуру. Советские финансисты не стали жить так, как хотел автор проекта: обедать и отдыхать коллективно, а в «жилычeyках» только спать. Придуманные архитекторами общие пространства для отдыха нарезали на комнаты, еду приходилось готовить прямо в квартире-ячейке: жильцы не любили эти дома.

Полюбят со временем, были уверены проектировщики. Они были убеждены, что опередили свое время. «Практическая неприемлемость этих зданий в конкретных условиях, как правило, объяснялась преждевременностью их внедрения —

предполагалось, что со временем общество „дорастет“ и до тех форм жизни, которые культивировались в домах-коммунах»^[3]. Но в действительности авторы тех проектов, как и большинство фантазеров, от времени отставали. Настоящие коммуны если и возникали в реальной жизни, то как попытка рабочих противостоять враждебной социальной среде. Агрессивное окружение заставляло сторонников советской власти объединяться в бытовые коммуны в годы Гражданской войны^[4]. В этих сообществах архитекторы и подсмотрели идею домов-коммун, совместив их с утопическими представлениями прошлого. Но в условиях победившего социализма пролетариям, хозяевам своей собственной страны, нужны были уже не оборонительные сооружения, а удобные городские жилища. О таких жилищах можно было только мечтать.

2. СТАЛИНСКИЙ ОРДЕР

Сталинские дома могут притягивать внимание и нравиться, потому что в них много лишнего, странного, непропорционального — башен, лепнины и гигантских арок. О таком доме можно только мечтать. Архитекторы этих домов были готовы поспорить с человеческим масштабом и климатом, устраивая в центре Москвы просторные итальянские лоджии, на которых можно загорать. Эти дома как будто говорили каждому советскому гражданину, выбравшемуся из общежития и оказавшемуся в центре города: это место для особенных людей. Инженерия — для плебеев, архитектура — для патрициев: тот, кто живет здесь, возвышается над остальными. Даже климат в этих домах не такой, как у нас: у них — средиземноморское солнце, у нас — затянутое тучами небо и вечный холод.

Сталинский стиль возник, как только вождь осознал и смог донести до подчиненных новое содержание архитектуры. Теперь, когда новый социальный порядок был намечен, нужны были инструменты его удержания и укрепления. Тайная полиция, принудительный труд, общественные организации, созданные сверху, — это инструменты сдерживания и насилия. Нужна была и позитивная программа, в частности — привлекательная эстетика. Отсюда и кинофильмы, и литература, и эстетика жизни новой аристократии: величественные дома, увенчанные колоннами «сталинского ордера», сталинского порядка (ордер — это порядок). Эти высокие дома, властно заявляющие о незыблемости

советской иерархии, построены в буквальном смысле «на зависть».

Слово «ордер» в советском употреблении получило еще насколько значений. Ордер на квартиру (вместе с пропиской, конечно) — это своеобразный титул на владение собственностью в стране, где нет собственности. Это очевидное возвращение к любимой Иваном Грозным практике наделения собственностью за службу. Ордера на квартиры в новых домах с башнями и колоннами государство вручало тем, кто высоко летал, тем, кто был знаменит, и, конечно, тем, кто руководил. О том, чтобы стать летчиком, генералом, артистом, можно было только мечтать. О профессиях других обитателей домов невозможно было даже мечтать: это были начальники, министры, депутаты и необходимые режиму специалисты — инженеры, художники, писатели, кинорежиссеры.

Ордер — это еще и документ, санкционирующий арест. Были случаи (Дом на набережной из этих случаев, конечно, самый знаменитый), когда вскоре после получения ордера на жилье следовал и ордер на арест. Власть могла дать человеку лицензию на частную жизнь за верную службу. Но власть сохраняла за собой право судить, насколько служба действительно верна. Если служба уже не считалась верной, то частной жизни больше не полагалось — только общественная, в лагере. Такой порядок, такой ордер.

У красивого, желанного, расположенного в хорошем месте жилья в России есть не только архитектурное, но и моральное измерение. Речь не о религиозных течениях или идеологиях, которые не признают собственности. И не о Руссо, который был

уверен, что цивилизация с ее страстью к границам испортила человечество. Речь снова о собственности, увязанной со службой.

Осенью 1933 года Осип Мандельштам получил первое, и единственное, собственное жилье — квартиру в кооперативном писательском доме в Нащокинском переулке. Но оседлой жизни было отмерено ему немного: в мае 1934 года поэт был арестован в этой самой квартире. Как раз в этом случае за ордером на жилье последовал ордер на арест. Считается, что главной причиной были стихи о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны...»), но на допросах речь шла и о стихотворении, прямо связанном с квартирой в Нащокинском, — «Квартира тиха, как бумага...»

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть...

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю,
И грозные баюшки-баю
Кулацкому баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,

Жены и детей содержатель —
Такую ухлопает моль...

Надежда Мандельштам вспоминает, что появление этого стихотворения вызвано одним коротким разговором с Борисом Пастернаком. Пастернак зашел взглянуть на новую квартиру Мандельштамов и, уходя, сказал: «Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи». «О.М. был в ярости... По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно — благополучие не служит стимулом к работе. Вокруг нас шла ожесточенная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже стали выдавать за заслуги и дачки... Слова Бориса Леонидовича попали в цель — О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась, — честным предателям»^[5].

В чувствах поэта нет толстовского и вообще какого-либо философского неприятия собственности. Мандельштама вывело из себя напоминание о творчестве, поставленном в прямую зависимость от службы. Пастернак добродушно и, скорее всего, без всякой задней мысли говорил об устройстве быта, о доме как лучшем месте для работы. А Мандельштам услышал напоминание о том, что жилье не покупается, а выдается в лучшем случае за игру на гребенке, а в худшем — за предательство и смешение чернил и крови. «Проклятие квартире, — пишет Надежда Мандельштам, — не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали»^[6].

Эта особая цена, не выражаемая в денежном эквиваленте и требуемая государством в уплату за элементарные повседневные блага, — неотъемлемая составляющая всей организации советской жизни. Глубокая бесчеловечность советской власти заключалась не только в том, что она убивала и калечила людей физически. Она калечила морально. В программе партии такой цели записано не было, но партийное руководство, по сути, проводило политику морального унижения образованной и духовно независимой части общества. Компромисс, отказ от свободы творчества в искусстве и науке поощрялись благами, квартирами, едой, деньгами. Бескомпромиссность, творческая свобода, независимость наказывались материальными лишениями, арестами, смертью.

Само присутствие этого чудовищного выбора в повседневной жизни заставляет взглянуть на советскую жизнь особым образом. Любое проявление независимости, каждый отказ шагать в едином строю в советское время оплачены дорогой ценой. Те, кто шел на это, — великие люди, и их нужно помнить. Дилемма о сотрудничестве или несотрудничестве с властью была по-настоящему жестокой в сталинские времена, но и в более поздние годы выбор не был легким. Менялись только масштабы риска. За игру по правилам давали призы (впрочем, без гарантий) — то самое полное «пайковое благоустройство». За игру не по правилам можно было не просто лишиться пайка, а потерять профессию и жизнь. Выбор в пользу недеяния на родине или отъезда с родины (уже в брежневские времена, когда эмиграция стала возможной) был во многих случаях благородным и трагическим выбором. Мы не узнаем имен всех тех, кто не пошел

на сделки, не реализовался и никак больше не дал о себе знать, отказавшись и от компромисса, и от собственного голоса.

Выжить, состояться жизненно и творчески, не запятнав себя предательством или другой низостью, было, наверное, высшим человеческим пилотажем тех времен. Но удавалось это единицам. Так что завидные «элитные» дома были населены людьми, заключавшими сделки с самими собой. Можно было завидовать их благополучию, а можно было и ужаснуться всему тому, через что или через кого им пришлось перешагнуть, чтобы стать «элитой».

У сталинской застройки, особенно у высотных домов, есть какая-то привлекательность, которую мне самому трудно себе объяснить. Возможно, это просто-напросто эстетическая привлекательность — наличие какого-то облика на фоне среды, где индивидуальность и выразительность были исключением. Вспомним, в начале мы говорили о том, что жизнь в построенных советскими инженерами многоэтажках была как будто бы лишена внешней стороны. Сама среда поощряла погружение в себя, в семейственность, спрятанную в одной из панельных ячеек.

Внешняя привлекательность «сталинского ордера» вызвана еще и тем, что в этих домах люди живут уже довольно долго. История этих домов и многих из тех, кто в них жил, тревожна и тяжела, но это история. И она, в отличие от дореволюционной истории, связи с которой порваны слишком давно, понятна большинству живущих сегодня. Притягательность нельзя создать одной только архитектурой. Нужны среда и история. Только эта история глубоко трагическая. «Элитные» дома — памятники не только архитектурным «излишества», но и несвободе, возведенной в

доблесть. Сервильность и предательство стали в этих домах башенками и ажурными решетками.

В 1960-е и 1970-е для обитателей высших этажей власти стали строить неприметные, но тоже очень хорошие дома. Все здесь имело значение — отказ от декора, большая площадь, «западная» планировка, подсобные помещения, даже камин и подземные гаражи. Высота этажа могла означать место в иерархии — есть известный дом в Гранатном переулке в Москве, где на одном из этажей, построенном специально для Брежнева, потолки выше, чем на всех остальных. Впрочем, заметить это можно, только если специально смотреть: удивительные преимущества номенклатурного жилья, в отличие от декора ампирических сталинских домов, не должны были бросаться в глаза.

Эти башенки, эта планировка, эти высокие потолки — украшение несвободы, которая вообще есть свойство любой условной собственности, то есть держания, обусловленного службой. Если жилье дается за работу, услуги или успехи, оно точно так же может быть и отнято. С точки зрения отношений собственности государство при большевиках, по сути, отыграло назад реформы предыдущих 150 лет и отменило все элементы права частной собственности, которые к моменту революции успели закрепиться. Земля, жилье и другие блага из собственности стали объектами держания — условного, то есть зависящего от решения властей.

Проведя ликвидацию права, власти ликвидировали и независимых действующих лиц. В деле уничтожения независимости советские вожди пошли, вероятно, даже дальше Ивана Грозного. Практически любые блага были превращены в

привилегии или, если подойти поближе к Средневековью, в бенефиции. Любое благополучие стало пайковым. Так архитектура стала частью большого проекта, в котором жили советские люди.

3. СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ХРУЩЕВА

Советские постройки до сих пор определяют облик большинства российских городов. Дома хотя бы потому очень красноречивы, что они всегда на виду, всегда там, где мы их видели вчера. Они живут дольше людей и несут свое послание спокойно и настойчиво. Иногда то, чего очень хочется, начинает владеть умами. «Дома, которыми мы восхищаемся, — это дома, различными способами восхваляющие ценности, которые мы считаем достойными, — говорит в книге «Архитектура счастья» Ален де Боттон. — Чтобы понять, почему человек находит то или иное строение красивым, нужно знать, чего этому человеку недостает. Может быть, мы и не разделим его чувство прекрасного, но поймем его выбор»^[7].

И выбор многих из нас нетрудно понять. Архитектура в тех странах, где власть сильнее рынка и права собственности, где приказ сильнее договора, — всегда особенно красноречива. Именно поэтому мы в России понимаем архитектуру мгновенно и подсознательно. Высокое, уникальное, «элитное» — недоступно, его нужно выслужить или купить любой ценой. «Элитность» и создает стоимость, что бы в данный момент ни понималось под «элитностью»: квартира в сталинской башне, кирпичный особняк-крепость или стерильный минималистский дом. А то, что просто и не имеет лица, — это вообще не архитектура, это продукция инженеров-уравнителей. Тех, кому были запрещены излишества, тех, кого заставили придумывать максимально дешевые дома.

Чтобы по достоинству оценить простоту, нужно хорошо знать, что такое сложность и роскошь. Дистиллированные формы модернистской архитектуры, большие пространства, поверхности из необлицованного бетона могли оценить только те, кто устал от сложных пространств, броских фасадов и нагромождений архитектурных «красот». Но те, кому действительно пришлось погрузиться в реальность, в которой архитекторы и инженеры были противопоставлены друг другу, не знали ни пространств, ни красот и, как правило, не имели собственного жилища, а за панельные жилые блоки говорили стране спасибо.

Большинство советских людей, не зная альтернатив, жили в мире, который придумали стесненные в средствах инженеры. Когда Никита Хрущев возглавил компартию и страну, положение с жильем было чудовищным. Количество построенной за предвоенные и послевоенные годы новой жилой площади было статистически незначимым и, в любом случае, было поглощено разрушениями: около трети всего жилого фонда СССР было разрушено в годы войны^[8].

Жилищное строительство было и страстью, и одним из важнейших политических проектов Хрущева. В книге воспоминаний он постоянно возвращается к этой теме: «Люди страдали, жили, как клопы, в каждой щели, в одной комнате по несколько человек, в одной квартире много семей»^[9]. Вспоминая о визитах за рубеж, он с увлечением рассказывает об образе жизни коллег. К примеру, датский премьер жил в квартире в кооперативном двухэтажном доме. Квартира «располагалась на двух этажах. Эта западная система размещения наиболее удобна

для семьи. Как правило, внизу находятся кухня и столовая, наверху — спальни, под окнами — садик, — пишет Хрущев. — Хорошая простая семья, без претензий, обеспеченная, но без роскоши, что мне вдвойне понравилось. Понравились также сам дом и устройство квартиры. Я, признаться, мотал там себе на ус, что и нам надо бы придерживаться такого образа жизни. А то у нас для руководителей сложились другие условия быта, вовсе неправильные»[\[10\]](#).

Строительные чиновники при Хрущеве присматривались к индивидуальному строительству: гонцы отправлялись в Британию, Финляндию и Швейцарию.

Но указом 1957 года решено было культивировать иной образ жизни — промышленный. Советские люди должны были получить индивидуальные жилища промышленного типа. Для решения проблемы нужен был переход от архитектуры к строительству, от ремесленных процедур — к промышленным, от ампира — к инженерии. И благодаря этому скорость строительства была феноменальной. «Жилищный указ 1957 года был одним из величайших сигналов хрущевской эры. Он дал зеленый свет беспрецедентному строительному буму — с большим отрывом самому масштабному в Европе», — пишет современный британский исследователь. В декабре 1963 года на пленуме ЦК Коммунистической партии Хрущев утверждал, что за 10 лет более 100 миллионов людей улучшили жилищные условия, — впрочем, в других случаях говорил о 75 миллионах[\[11\]](#). Другие подсчеты, причем за более длинный промежуток, с 1955 по 1970 год, дают

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)